

А. И.
ЛЕВИТОВ

Сочинения



Александр Иванович Левитов

Сапожник Шкурлан

«Был у нас на посаде мужичонка один – сапожник. Мы его взяли и прозвали Шкурланом, потому он того заслуживал. И утром рано, и ночью поздно все, бывало, пьяный шатается он по посадским улицам и орет – и все это он одну и ту же поговорку орал...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0021

Александр Иванович Левитов
Сапожник Шкурлан[1]

Был у нас на посаде мужичонка один – сапожник. Мы его взяли и прозвали Шкурланом, потому он того заслуживал. И утром рано, и ночью поздно все, бывало, пьяный шаптается он по посадским улицам и орет – и все это он одну и ту же поговорку орал:

– Кто еси, – говорит, – из всех вас, посадских, умный человек есть? Выходи, – кричит, – я с ним потолкую...

Только выходить к нему никто никогда не выходил, – осрамит.

Он к нам из-под Усмани приехал. Сам он был маленький такой, плюгавый, с черными усами, усищи точно очень длинные и густые были, в синем сюртуке, и жена, как он же, маленькая и плюгавая – вся в морщинах, только платье на ней, словно бы и на купчихе, ситцевое и красная шаль на плечах. И прямо это он, только что въехал в посад, чем бы на постоянный двор пристать, он, благослови господи, с бацу-то в кабак и привернул. Пошел он с женою в кабак, а при телеге шесть молодцов таких-то ли бравых осталось, все тоже в вы-

тяжных сапогах, в картузах и в сюртуках синей нанки. Стоят около телеги. Народ тут к ним подходить стал, кое-кто спрашивать их начали:

– Что, мол, вы за люди будете, честные господа? Откуда и куда путь держите?

– Отходите, – это они-то нам говорят, – подалее, покелича тятенька из кабака не вышел. Беда будет!..

Посмеялись мы тут, что они, эдакие-то ли балбесы, тятенькой своим нас стращают.

Смотрим: выходит это он сам из кабака с крендельком, картуз заломил на самый затылок, у жены штоф вина в руках, сыновей тем вином обносить она принялась.

– Ну, – говорит, – пейте, ребята, да фатеру скорее искать, потому я спать захотел.

А как раз подле кабака старуха одна сумасшедшая в избушке жила. Синей Каретой мы дразнили ее. Не было у ней ни роду, ни племени, мирским подаянием пропитывалась. Так урлапы-то его, он в кабаке прохлаждался, уж пронюхали, что некому защитить старухи, сейчас ему и докладывают:

– Есть, мол, тут, тятенька, старушка одна

убогоньякая, Синей Каретой зовут, так к ней можно пристать.

Поселились и скоро старуху совсем из ее жилья вон выкурили. Посылал становой сотских сначала выгнать Шкурлана, так он здорово приколотил сотских и сказал им, что дом его и чтобы становой в чужие дела не совался.

Только удивился же становой этому мужичонке и сам к нему с понятыми нагрянул. Весь посад сошелся смотреть – что, дескать, будет?

Шкурлан стал так-то пред становым, подперся руками в бока, расчистил усы и говорит ему:

– Пошто, – говорит, – барин, пришел ко мне, когда я тебя в гости не звал? Приходи, – говорит, – когда позову.

– Ах ты, такой-сякой! – начал было становой; а у Шкурлана всякий сын свое имя имел: одного он князем Кутузовым звал, другого Паскевичем, третьего Дибичем: «Все, говорит, они у меня главнокомандующие».

Как только принялся его ругать становой, он сейчас и говорит Дибичу:

– Дибич! Выведи его вон!

Дибич без разговора взял станового за плечи и вывел. Сотские и кое-кто из посадских попробовали было заступиться, – знатно же, однако, те заступники от Шкурлана с сыновьями по шеям получили.

– Я, – кричал Шкурлан, – один с моими молодцами могу таких два посада, куда хочешь, загнать. Я, – говорит, – всякого человека, какой меня притеснять станет, беспременно искореню, потому никого не боюсь, и дети мои, кроме меня, никого не боятся.

И жена тоже, бывало, поддакивает ему:

– Точно, – говорит, – мы никого не боимся! Вот семейка какая собралась!

«Угодит теперь Шкурланище в Сибирь за обиду барину!» – подумали мы, посадские, после такого случая: ан не туда глядишь! Написал про него становой окружному, что, дескать, так и так: ничего не могу поделывать с Шкурланом, потому, говорит, ребята у него здоровы очень, – весь посад они разгоняют.

А Шкурлан только что слышал про это письмо, сейчас мешок с краюшкой хлеба на спину навалил, закурил трубку, – маленькая

у него трубка такая была, с расписным коротеньким чубуком, – и прямо в губернию. Там господа разные наехали к губернатору, и он с ними вместе зачесался к нему и ждет, когда выйдет начальник, а сам так-то ли сердито усы покручивает.

Дошла очередь до него.

– Кто ты? – спрашивает его начальник. – И что тебе нужно?

– А есмь я, – отвечает Шкурлан, – государственный крестьянин и сапожник; а нужда моя в том вся, чтобы ты прогнал из посада станowego такого-то, потому он казны государственной расхититель, а миру всему великое зло. Вот, – говорит, – что мне нужно!..

Господа-то даже, какие тут были, сказывают, остолбенели все, глядя, как он так вольно говорит с генералом. Нахмурился и губернатор тоже и долго смотрел на Шкурлана сердитыми глазами, а потом проговорил:

– А что ты, – говорит, – Шкурланище ты эдакой, в острог, что ль, захотел, когда мне такие грубости говоришь?

И Шкурлан тоже оборонился смешком на свои усы и сказал генералу: «Так я же, гово-

рит, еще скажу тебе, что я в острог не пойду, а пойду от тебя прямо в Питер к самому императору жаловаться, и запретить этого ты мне не в силах, потому я, говорит, кроме как одного господа небесного, никого не боюсь», – и сейчас же мешок свой навалил на спину и пошел.

Все господа не утерпели и засмеялись – и сам засмеялся.

– Вот, – говорит, – какой озорной мужичонка! Сроду таких не видал. Воротить его, – говорит, – ко мне в кабинет. Мы после с ним по-толкуем.

– Отчего не потолковать? – с усмешкой сказал Шкурлан. – Потолковать с начальником я всегда могу.

Неизвестно, что они с губернатором говорили, только еще не дошел до посада Шкурлан, а становой наш уже получил из губернии приказ, что, дескать, быть тебе, становой такой-то, без службы.

С тех пор вона какой почет стали мы все Шкурлану отдавать. И как он завсегда в кабаке с своею женою пребывал, так чуть только кто ввернется туда, беспременно и им от своих трудов праведных либо шкалик, либо косушку жертвовал. А Шкурлан это одну руку запустит в карман, а другой все усы старается за уши заложить и говорит:

– Понимайте теперича, почему я завсегда пьянствую. Потому – все вы дураки и мне с вами поделать ничего невозможно...

– Это точно! – непременно подтвердит жена.

И, коли правду говорить, ежели бы он не пил так безобразно, многих бы он, по своему разуму, за пояс мог заткнуть. Одно его мастерство чего стоило! Какие хочешь сапоги, барские или теперича купецкие – вытяжные или просто мужицкие, такие-то ли всегда удирал он – смотреть любо! Только редко же этот Шкурланище проклятый работу свою до конца доводил. Всегда почти пропивал он товар, какой ему давальцы принашивали.

– Зачем ты, Шкурланище, мой товар пропил? – начнут его спрашивать.

– А затем, – скажет, – что мне так захотелось...

Жаловаться на него никто уж и не жаловался, потому не помогали жалобы. Всех начальников он умел своими разговорами расшевелить и милости себе всякие от них приобрести. Пробовали тоже своим судом расправляться с ним, – одна драка всем селом выходила, потому заступалась за него жена с сыновьями и еще пономарь один забулдыжный тоже заступался, – Катеринычем его прозвали, – так они весь посад одни одолевали. Ну, однако, изловчились и мы и под Шкурланову душу подделались, не скоро только. Теперича, ежели он у тебя один товар пропил, сейчас же другой ему принеси и как можно усерднее попроси, чтобы он этого товару не пропивал.

– Ты уж, мол, тово, Григорий Кузьмич, кошь из этого сшей, а за прежний сочтемся.

– Вот это, – скажет Шкурлан, – я люблю. Я доверие очень люблю, – закричит, – и сам всем готов доверять, только нечем.

И тут же отдаст приказ сыновьям лучше

сшить сапоги.

– Слушаем, тятенька! – ответят сыновья и примутся за работу так, что стружки летят. Славные они у него ребята были – так отца с матерью слушались, что всем нам завидно было.

– Поди же вот, – толковал посад, – отец с матерью пьяницы, а дети исправные. – Все они у него, кроме как грамоте, и сапожному мастерству обучены были, всякий от себя самоучкой еще – кто на гармонике, кто на гитаре или на рожке выучились. Выйдут, бывало, летним вечером, как работа кончится, на улицу, сядут все около избы и примутся они так-то сладко песни играть. Ни одного безголосого во всей семье не было! Мать это у них такая-то старуха мозглявая, взглянуть не на что; а как почнет, бывало, «незабудочка цветочек» тонким голоском оторачивать – заслушаешься. И Шкурлан сам всем этим затеям первым запевалой считался. Поначалу-то тенорой пустит-пустит, а там всю песню на басы держит. Откуда только такой толстый голос у него брался?

Со всего посада и из слобод даже приходил

народ слушать их.

Года три или четыре таким-то манером жил Шкурлан у нас на посаде. И к пьянству его, и к оранию по ночам, и к руготне все мы привыкли и сердиться на него перестали, потому как первое дело: совсем он пропащий мужичонка был, другое: много тоже и добра всякого по посаду и по окрестным селам он делал. Теперича ежели богатый купец какой очень грабить народ принимался, или становой, или писарь нажимать чересчур почнут, Шкурлан сейчас с приятелем своим пономарем придут к нему под окна и такие-то рацеи прочитают ему, – свету божьему не обрадуется.

– Отойдите только от окон, ребята, да срамить перестаньте, – умаливает их такой человек. – Я, – говорит, – вас водкой, как угодно, ублаготворю.

Особенно так-то они благочинного посадского донимали. Дочерям его не то что на улицу, а из дверей даже нельзя было показаться, потому пономаря очень обижал благочинный, так он даже охальничал перед ним.

– Ну, Катериныч! – грозил пономарю благо-

чинный, – уж похлопочу же я, чтобы тебе лоб забрили.

– А я, – говорит пономарь, – на всякую минуту готов, потому лучше мне у черта в аду жить, чем у тебя под рукою.

Плюнет благочинный, слушая такие пономаревы речи, и уйдет прочь; а Шкурлан с приятелем со смеху покатываются и про все его тайности крещеному миру во все горло орут.

– Мы тебя, – кричат, – пропечем! Сунься-ка ты на нас.

Устанут кричать, стоявши под окнами, возьмут лягут насупротив дома и, лежа, ругаются. Так до тех пор и не отходят, покуда им либо водки, либо денег не вышлют. А вышлют, так они насмеются.

– А, – скажут, – черти поганые! Вином хотят неправды-то свои смыть. Небойсь ничем их не смоешь, – насмеются и отойдут, а пономарь всегда в таком разе кант запевал.

А особенно умели они отхлопатывать от рекрутчины ребят, каких мир, либо по их бедности, либо по сиротству, без очереди заедал. Придет к ним такой горемыка, купит вина

четверть, бумаги, перо, сейчас пономарь за письмо. Так это все чудесно высшему начальству он подведет, что многих из службы назад вращивали, и миру большой нагоняй выходил. А бывало когда, что и высшее начальство с миром заодно на тех горемык выходило, так писаки-то наши на конце письма подписывали, что, дескать, ежели вы, ваше благородие, парня Ивана Лучину, занапраспо забритого, не ослободите, мы в ту же пору к самому батюшке царю в Питер жаловаться на вас пойдем. И сейчас же оба подпишутся к письму.

– К сему, – говорят, – прошению посадский пономарь Кузьма Лукич Забубённый и государственный крестьянин и сапожник Григорий Кузьмич, по прозванью Шкурлан, руки приложили.

После таких писем многих парней освобождали. Разве уж такого только не отхлопывали они, кому на роду написано быть в солдатах, и за такие свои хлопоты, кроме как одного вина, подарков никаких не принимали.

Поэтому-то, всего больше, видючи в нем

такую добрую душу, мы и не очень чтобы мешали Шкурлану пить у нас на посаде. Только и прослышали мы в это время про набор.

– Большой набор будет! – стращали нас городские приказные. – Три земли на нас поднялись[2]. С эдакой махиной надобно поправляться.

«Ну, – думаем, – большой, так большой. Знать, такой следует», – а сами, кого надобно было, снаряжаем заранее, чтобы были готовы на всякое время и на всякий час, потому не на шуточное дело молодцы наши шли и не на день, не на два...

Были же те слухи как раз перед Севастополем.

Повестили наконец к жеребьям, а там уже и сдавать повезли, а у Шкурлана, года с три прошло ли еще, как племянник в солдаты ушел, и очереди за его семейством покуда не значилось.

– Счастлив, – толкуем промежду себя, – этот Шкурлан. Шесть орлов каких вырастил, а вот, поди ты, все дома сидят.

Смотрим так, однажды поутру Шкурлан со всеми сыновьями куда-то в дорогу собрался.

Идет он впереди ребят и трубку курит, а сам такой скучный, повесил усы и не пьян. Старуха их провожает, рекой разливается.

– Куда, мол, собрался, Григорий Кузьмич? Ай место где облюбовал, – выселиться хочешь?

– Прощайте, – говорит, – братцы! Иду, – говорит, – я ребят в солдаты отдать всех до одного человека, потому враг на нас идет многочисленный, – говорит, – аки звезды небесные.

И пономарь Кузьма с ними же шел.

– И меня, – говорит, – православные, не поминайте лихом, а я вас совсем поминать не буду, потому надоела, – смеется, – мне дурь ваша. Посмотрю, не лучше ли там будет?

«Шутят они! – подумали мы. – Должно быть, собрались куда-нибудь на охоту либо на рыбную ловлю».

Какая же, однако, шутка вышла? Ведь в самом деле всех ребят и с пономарем Шкурлан в солдаты сдал! И так он через такое свое дело всему губернскому начальству понравился, что много то начальство и ему и ребятам денег надавало. И выпросил он, кроме того, позволение быть его детям и пономарю всем в

одном полку и в одной роте.

Хотели было в гвардию таких молодцов представить; упросил Шкурлан, чтобы их прямо в сражение пустили.

– На врагов, – говорит, – я их привел.

Вышла ему от начальства письменная бумага – благодарность; а он пришел домой, повесил этот лист в избушке Синей Кареты и запил.

Долго не верила Шкурланиха, чтоб он всех до одного детей отдал в солдаты. Все думала, что вот-вот хоть один вернется назад, хоть младшенький; а как увидала, что нет оттуда возврата, тоже запила вместе с мужем.

Бывало, и смех тебя берет, и печаль, как она, словно капка, у которой каньши заблудились, по посаду пьяная ходит. Нагнется она, сугорбится, истерзанная вся, и плывет, а сама бурчит что-то и руками разводит; а шаль ее красная спустится с одного плеча на землю и волочится за ней.

Недолго только проходила Шкурланиха таким манером. Вскорости умерла; а умираючи, на чем свет стоит мужа ругала за то, что он ее с милыми детушками разлучил.

Пришли как-то кое-кто взглянуть на умершую, а Шкурлан с ней все равно как с живой разговаривает, потому очень уж пьян он был в это время.

– Глупая! – бормотал он. – Своего счастья не знаешь. Тебе там веселее будет!.. Я бы и сам давно хотел помереть, да смерть нейдет...

И все это тихо он бормотал, не то чтобы, как прежде, горлопятил; жалость большая брала, глядя, как он одиноким остался. А в избушке такая-то жуть, такая-то бедность! Печка совсем развалилась. Синяя Карета, отрепанная вся, в лохмотьях, в морщинах, забралась на нее и, словно зверь неразумный, смотрит на всех и зубами сердито щелкает...

Тише воды, ниже травы Шкурлан сделался, когда своей семье лишился. По целым дням, бывало, сидят они с Синей Каретой в ее избушке и друг на друга смотрят.

Мальчишки посадские найдут к ним в избу, смеются-смеются над стариками и не добьются от них ни единого слова. И только тогда, когда темная полночь весь посад спать укладывала, соседи слышали, как выл Шкурлан:

– Чады мои, чады, что я с вами сделал?..

Подсматривали за ним соседи потихоньку, так видели, как он в это время по земле катался и волосы на себе рвал. А днем опять засядет в свою берлогу и сидит там, не сходя с места, печальный такой, седой, облыселей. Видят посадские, что не только старики не могут себя прокормить своими руками, а даже и по миру не в силах ходить, стали им хлебца носить, водицы, кваску...

– Что же ты, Григорий Кузьмич, сидишь здесь? – старики его спрашивали, когда он мало-мальски почувствуется.

– Смерти, – говорит, – жду, милые мои! Авось она унесет с собой мое горе великое, какое я всю жизнь мою в кабаках пропивал, да не пропил!..

А сам так-то ли горько плачет, словно река разливается.

Дивились мы на него не мало и думали: про какое горе он говорит? Человек, можно сказать, весь век в кабаках проздравствовал на чужие деньги, а теперь горюет. Разве по сыновьям плачет, так ведь сам он их отдал в солдаты.

А горе у него, должно быть, в самом деле великое было, потому истинно, что всеми своими кровями кричал про него Шкурлан по ночам и будил нас... Будил нас теми своими криками страшными, как голос доможила, когда он «к худу» вещает; а мы, слушаючи их, очень ужасались сердцами и господу богу, вставши с постелей, усердные молитвы тво-рили.

Примечания

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1. М., 1874, с. 343—355. Впервые опубликовано в журнале «Развлечение», 1863, No 5, с подзаголовком «Степной очерк».

[^^^]

2

Три земли поднялись... – Имеются в виду Англия, Франция и Турция, выступавшие против России в Крымской войне 1853—1856 годов.

[^^^]